

нежности» к Толстому, о благодарности всем Толстым — о том, что является «отрадой» его жизни. А затем переходит к мыслям о содержании своей жизни, как всегда, печальным, цитируя самое любимое Толстым стихотворение Пушкина: «А какую цену, какое значение имеет *моя жизнь*? Этот вопрос я часто задавал себе, и чувствовал, что, так как я ей даю очень малое значение, то и выражения, подобные предыдущему, теряют свою силу. Я, *моя жизнь, мое счастье* — вот для всякого человека последняя точка опоры, мерило всего остального, цветное, вкусовое начало. Представьте, что у меня это начало очень слабо, и потому не только я не способен к деятельности, борьбе, *se faire valoir* и т. п., но и не могу видеть в своей жизни ничего важного.

Мне трудно говорить об этом предмете, и вот почему я не могу писать автобиографии. Каким тоном ее писать? Кажется, я бы всего сильнее выразил чувство *отвращения*.

И с отвращением читая жизнь свою,  
Я трепещу и проклиная».

Затем Страхов сравнивает себя с Достоевским (и с А. Майковым), что пока еще выглядит невинно, но позднее выльется в злобный шарж, отказ от только что им завершённой биографии Достоевского. Здесь это, правда, всего лишь отдаленное ворчание грома, просто размышление о контрасте натур: «Я не люблю жизни так, как ее любит Майков, и я не люблю самого себя так, как Достоевский; как же я стану писать? Я стараюсь уйти от себя и от жизни; как же я стану с этим возиться? Рассказывать просто, не судя, с тем, чтобы другие судили, я не хочу и не могу; я непременно буду и хочу сам судить, и мне недостает для этого спокойствия. Всего охотнее я бы стал ругать самого себя, как я внутренне это делаю. Но для Вас я готов бы это написать, а для других — не вижу цели, нахожу скорее вредным, чем полезным». И отодвигает «пока» этот «трудный предмет» в сторону.<sup>118</sup>

Страхов колеблется, не решаясь быть откровенным с Толстым, дорожа его расположением: «...на меня все еще иногда нападает страх, что Вы меня, гадкого, как-нибудь разлюбите».<sup>119</sup> Да и на вопросы, ясно и неумолимо поставленные Толстым, он не знает как ответить — они неизбежно рожают другие, препятствуя правдивому рассказу о душевном состоянии, как следует из «отчета» о проделанной работе 24 октября 1878 года: «Спрашивается, чем же я живу? Чего от себя добиваюсь и в чем полагаю то хорошее, без стремления к которому мне было бы стыдно жить? Мне представляется, можно написать любопытный этюд, только очень грустный. Да, вот причина, почему мне трудно писать воспоминания: нужно держать известный тон, а я не найду настоящего. Душа у меня так расшатана, что я мог бы написать в торжественном, в светлом, в комическом, в отчаянном — но в простом не сумею».<sup>120</sup> Толстой не ждал от Страхова ни торжественного, ни комического, ни отчаянного. Он хотел простоты, ясности, правды — вершин, достичь которых Страхов никак не мог. Только начнет восхождение — и срывается.

О своей внутренней жизни Страхов пишет, как правило, скупо и «объективно». Немного неожиданно он вдруг (через год) в октябре 1879 года вновь заговорил о намерении написать (не для всех, а для Толстого) свою автобиографию-исповедь: «Перед Вами я всегда как перед исповедником чист

<sup>118</sup> Там же. С. 463.

<sup>119</sup> Там же. С. 467.

<sup>120</sup> Там же. С. 473.